

ТОМ I

Жозюа: Вот человек, Жильберт, который лучше знает историю того времени, — это тюремщик Лондонской Башни.

Симон Ренар: Вы ошибаетесь — это палач!
Виктор Гюго. Мари Тюдор, день 1, сцена II.

ВСТУПЛЕНИЕ

18 марта 1847 года я возвращался домой, утомленный одной из тех долгих прогулок, в которых я искал лишь уединенных мест, чтобы подавить тяжкие мысли, волновавшие мой ум. Едва я успел переступить порог своего дома, и старая, столь редко отворявшаяся дверь, скрипя своими заржавленными петлями, успела затвориться за мной, как привратник вручил мне письмо.

Я тотчас же узнал большой конверт с огромной печатью, вид которого уже не раз приводил меня в трепет: внутренне содрогаясь, я взял послание и, ожидая найти в нем одно из тех зловещих приказаний, повиноваться которым я был вынужден в виду своей печальной профессии, тихо начал подниматься по лестнице.

Дойдя до кабинета, я с волнением вскрыл письмо, которое должно было содержать чей-либо смертный приговор. Я развернул его.

Это было мое увольнение от должности!!!

Мной овладело странное и неопределенное чувство; я поднял взгляд к портретам моих предков, окинул мрачные, задумчивые лица — в них я читал ту же мысль, которая до сих пор угнетала и мое существование; я смотрел на своего деда, снятого в охотничьем костюме, задумчиво опирающегося на ружейный ствол и ласкающего свою собаку, быть может, единственного друга, которого он имел

когда-либо; я взглянул на своего отца, снятого со шляпой в руке и в трауре, который он никогда не снимал при жизни. Я как будто хотел сообщить всем этим немым свидетелям, что, наконец, настал конец фатализму, тяготевшему на их поколение, и что я намерен теперь делать.

Позвонив, я велел принести себе чашку воды, и перед ликом Господа Бога, все читающего в наших сердцах и в глубочайших тайниках нашей совести, торжественно умыл руки, которым уже не придется быть запятнанными кровью себе подобных.

Затем я пошел в комнату своей матушки, бедной святой женщины.

Часть I. И у волков есть свое семейство!

Я как будто и сейчас еще вижу ее в старом бархатном кресле, с которого она с трудом вставала. Я положил на ее колени послание Юстиции. Прочитав его, она взглянула на меня своими добрыми глазами, в которых я столь часто черпал всю свою силу и бодрость, и сказала:

— Да будет благословлен день сей, сын мой! Наконец он избавляет вас от зловещей участи ваших предков; вы спокойно, в мире проведете остаток дней своих, и, может, Провидение не остановится на этом...

В страшном волнении, в котором радость так и прорывалась наружу, я не находил слов, чтобы ответить ей.

— Наконец, — продолжала она, — должен же был быть когда-нибудь конец этому. Вы последний из своего рода. Всевышний даровал вам лишь дочерей: я всегда благодарил его за это.

На другой день восемнадцать человек претендовали на мое место и сновали со своими просьбами с приложением рекомендательных писем по министерским кабинетам. Как видно, заменить меня было нетрудно.

Что касается меня, то я уже принял решение. Я спешил продать старый дом, в котором семь поколений моих предков провели свою жизнь в презрении и унижении, ло-

шадей, экипаж, на котором, наподобие герба времен крестовых походов, был изображен надтреснувший колокол — герб самый красноречивый. Одним словом, я избавлялся от всего, что могло поддерживать или возбудить память о прошедшем, и затем, отряхнув пыль с башмаков о порог двери, я навсегда оставил этот дом, где подобно предкам никогда не мог пользоваться ни спокойствием — днем, ни отдыхом — ночью.

Я бы уехал в Новый Свет, если бы меня не удержали преклонные лета моей матушки, к которой я с детства привык питать сколько любви, столько же и обожания. Слишком недостаточным казалось мне отделить себя пространством морей от Европы, где я был исполнителем столь печальной обязанности в кругу общества, которое считается одним из образованнейших. Америка со своими возникающими Штатами, едва начертанными законоположениями, первоначальными нравами, импровизированными городами, своими последними атрибутами невежества, умирающего под благодетельным влиянием цивилизации, своими обширными степями и пустошами, девственными лесами и огромными реками, поэтические описания коих я читал у Шатобриана и Купера, — все это невыразимо привлекало меня. Мне казалось, что это страна возрождения и что, поселившись в ней и переименив имя, облаченное столь жалкой славой, на другое, я могу надеяться зажить новой жизнью и сделаться свободным и деятельным гражданином великой страны.

Прочтение в то время только что появившегося сочинения Густава де Бомон и Алексиса де Токвиль об этой нации, которая, по их словам, является убежищем свободы, немало послужило к укреплению во мне этой мысли. И точно. Можно ли было предвидеть междоусобную борьбу, которая в настоящее время пожирает родину Вашингтона. Отец мой скончался семь лет тому назад. Я имел счастье пристроить двух дочерей. Бедняжки! Я должен умолчать фамилию, под которой они были вынуждены скрывать несчастное имя своего отца, чтобы не покрыть краской стыда их невинные личики.

Но в Париже меня удерживала цель выше всех соблазнов, выше всех приманок — моя мать, семидесятилетняя старушка, которая, несомненно, захотела бы сопутствовать мне, если бы я имел неблагоразумие открыть ей свое желание, и которая никогда бы не перенесла столь долгого путешествия. Поэтому я должен был остаться подле нее, чтобы не лишать ее забот, к которым она привыкла, охранять ее старость и спокойно закрыть ее глаза, столь часто переполненные слезами.

Увы! Это последнее горе уже вскоре постигло меня. Три года спустя я должен был перенести невозвратную потерю — смерть достойной и обожаемой женщины, дважды дав мне жизнь: носив меня в своем чреве и своими советами поддерживая меня в стойкости к перенесению моей жалкой участи.

То был роковой удар для меня, удар, который на долгое время погасил энергию, возникшую во мне при извещении о моем увольнении. Между тем, шло время; я достиг того возраста, в котором человек не может питать иллюзию приступить к жизни вторично. Поэтому я окончательно бросил мысль покинуть Отечество.

Однако я спешил покинуть Париж и уехать в отдаленное и тихое местечко, где бы ничто не могло напомнить мне о печальном занятии в лучшие годы моей юности и зрелого возраста. Я ношу уже с двенадцатого года чужое имя, пользуясь с тайным чувством стыда дружбой, употребить во зло которую я боюсь, и утратить которую я опасюсь при первом открытии моего инкогнито; наконец, имея право любить только некоторых животных, товарищей моего уединения и которым (да простит мне читатель Пифагорскую чувствительность) я дарю удвоенные ласки, чтобы утешиться, чтобы найти силы подавить в себе человеческие чувства, казня себе подобных.

Увы! Напрасная предосторожность нашего бедного разума! Я чувствую, что здесь, в печальном моем уединении, где я думал найти убежище от моих воспоминаний, они против моей воли возникают и гнетут меня всей своей тяжестью. И вот, достигнув шестидесятилетнего воз-

раста, утомленный жизнью, в которой я ничего не знал, кроме горечи, мне пришла странная, одуряющая мысль написать книгу, первые страницы которой посвящены «Предисловию».

Безделье и уединение — плохая среда для воображения, которое лишь требует объяснений. Поэтому я более не в состоянии был оставаться наедине со своими мыслями.

Удрученный тысячью идеями, напоминавшими мне о моем зловещем предопределении с самого рождения, о моем звании, я невольно переносился к эпохе, когда случай, о котором я расскажу ниже и который, несмотря на действительность, напоминает по своему романтизму один из поэтических вымыслов нашей литературы, ввел в наше поколение зловещее наследие, передать которое мне, благодаря Господу Богу, некому. Я вспомнил ряд своих предков, в числе которых даже семилетний ребенок не имел пощады. Прадед мой, Шарль-Баптист Сансон, родившийся в Париже 19 апреля 1719 года, вступил в должность своего отца 2 октября 1726 года, но так как было невозможно, чтобы ребенок его лет сам мог выполнять такую обязанность, на которую был обличен, то Парламент дал ему в помощники палача по имени Прюдом, требуя, чтобы он хотя бы присутствовал при всех казнях, совершавшихся в то время, чтобы придать им законный вид. Разве это несовершеннолетие, и эти постановления правительства не достойны замечания в истории эшафота!

Я вспомнил своего деда, облаченного в одежду Несси, в ту отдаленную эпоху, в которую слово «страх» было выражением слишком нежным, когда он был вынужден отсекал кровавым лезвием топора головы как самых невинных, так и самых виновных людей. Потеряв всякое сознание своего униженного положения, не обращая внимания на презрение жертв, которые, что касается меня, никогда не могли заглушить крика моего сердца и угрызений совести. Мое воображение рисовало мне этого старца, бледный лик которого я видел, будучи ребенком, исполнявшего свои зловещие обязанности среди борьбы пожирающих себя партий, видя побежденными — победителей

вчерашнего дня, и на завтра — победителей сегодняшнего; исполнителя той жажды крови, которая была самым характерным явлением этого невероятного момента в нашей истории.

Наконец я вижу моего деда в ту минуту ужаса, когда 21 января 1793 года революция вторично представила свету королевскую голову, отсеченную кровавой рукой палача...

Я знал, какую страницу занимало это столь внезапно случившееся событие в нашей жизни, опасениях, слезах, угрызениях нашей совести, подкравшееся к нашему очагу, — это печальная страница в числе прочих, посвященных жалкому перечню, в который уже в продолжение полутора столетий мои предки день за днем вносили имена и поступки своего поколения.

Анализируя эти странные анналы, которые я сам продолжаю, которые возникли еще во времена «пудры» и затем существовали во времена регентства и царствования Людовика XV и, наконец, во время революции и в наш век; встречаю на каждой странице любопытные воспоминания, неизвестные истории того времени, множество преданий, сохраненных семейством, обреченным в продолжение двух веков, подобно древним париасам, на уединение и презрение, которые, собственно говоря, составляют таинственные архивы для неизвестного будущего; встречаю в них как имена знаменитых, так и презренных людей — имена графа Горна возле Пуллалье и Картуша, Лалли Толлендаль и кавалера де Ла Барр, Дамиенсов и, наконец, короля во главе этого кортежа жертв мук, которые не находят себе подобных в истории. Я припомнил рассказы отца о временах Империи, адской машине, машинах Жоржа Кадудалья, товарищей Жеху, Шофферов, и проч., переместившись в те времена, когда мне самому приходилось пройти все те страшные случаи, кровавая развязка которых выпала на мою долю: присуждение четырех сержан-

тов Ла Рошеля, Лувеля и всех помощников Жана Клемана и Равальяка, тщетно покусившихся на жизнь Людовика-Филиппа. Переходя от этих жертв фанатизма к жертвам судебных ошибок, как например, Лезурку, и наконец, к самым невинным преступникам: Дерю, Папавоану, Кастеню, Ласенеру, Суффлару, Пульману и прочих, в которых мы встречаем лишь разные виды преступлений и различные степени человеческого развращения, я задал себе вопрос, что не скрываются ли в этом материалы для книги, польза и интерес к которой изгладили бы неприятное впечатление, произведенное именем автора, и не будет ли лучшим занятием моей старости труд по поводу этого сочинения.

Сознаюсь, и это мое извинение, что я не медлил ни минуты.

Поэтому я приступил к работе и немедленно стал писать свое произведение, справившись предварительно с «Историей казни и Палачей», которая, мне так казалось, могла быть весьма полезной при составлении этого сочинения.

Это сочинение — предлагаемая на суд публики книга.

Шум, возникший после одной из публикаций, дал мне понять весь риск, которому я подвергаю себя, но это не остановило меня. Быть может, предположили, что я выбрал из груды писем несколько фраз, составил книгу под своим именем, не убедившись в том, что это — чистосердечный, добросовестный труд, который мог возникнуть только в уме человека, удрученного горестями, ставшими его судьбой, и написанный по материалам оставленным мне моими предками. И это стало главной причиной стольких нападков еще до ее появления. Они должны, прочитав мою книгу полностью, лучше судить обо мне.

Быть может, читатели, столь жадно отыскивающие на страницах журналов описание главнейших казней, примут благосклонное единственное сочинение, представляющее верное описание всех кровавых драм, происходивших в последние два века нашей эры; быть может, презрение, связанное с моим прежним званием, презрение, которого я не хочу и не могу считать предрассудком, исчезнет

хотя бы на минуту при чтении этого сочинения, большую часть страниц которого я посвятил философским, историческим и, могу сказать, моральным истинам.

Некоторые из представителей журнала «Фельетонроман» заклеили анафемой заглавие моего сочинения.

Более снисходительные воскликнули: «К чему подобная книга?»

Увы! Я не имею права быть щепетильным, потому прошу только позволения возражать лишь тем, кто, как кажется, задал мне этот вопрос.

Если общество и отталкивает все, что касается памяти преступников, то оно должно все-таки принять то, что относится к памяти жертв.

Последнее биение сердца мученика принадлежит потомству: оно имеет право, его обязанность изведать — куда он обратил свой угасающий взор.

Поэтому позвольте человеку, которому ваши отцы, вследствие своего протеста, отвели ужасно мучительную роль высказать свое отношение к истории, рассказать то, что ему довелось видеть.

Если бы целью этого сочинения было лишь доставить новую пищу пошлому любопытству людей, которые не имеют мужества искать душевных волнений у подножия эшафота, и, между тем, хотят найти их в сочинении, которое представляло бы фотографический снимок этих сцен в театре смерти, то ваше презрение было бы основательно; но я бы бросил в огонь книгу, написанную с этой целью.

Наконец Богу не было угодно, чтобы мне пришла хотя бы на минуту мысль, как многие могут подумать, предпринять апологию гильотины и восстановления звания палача! Скорее бы отсохла моя рука, чем начертала сочинение, столь противоречащее моим душевным мыслям и стремлениям в продолжение всей моей жизни. Напротив, если я и был воодушевлен свыше к изданию этой книги, то главным поводом к этому была необходимость постановки этого вопроса перед трибуналом общественной цивилизации, вопроса, о котором говорило столько знаменитых людей, начиная с Монтескье, Беккариа, Филанджери

и до Виктора Гюго, которые требовали отмены беспощадного истязания, живым олицетворением которого я имел счастье быть.

Зная, насколько этот важный вопрос занимает умы всех, вследствие великодушного начала, сделанного одним небольшим Германским великим герцогством, родиной Гете; Шиллера и Виланда, этого германского Вольтера, я в свою очередь, не считал себя вправе оставаться более нейтральным, убедился, что мой священнейший долг, в виду своего бывшего звания, положить и свой черный шар или принести и свое свидетельство по делу этого великого процесса, который ведется уже более века против постановления, которое ни в чем не соответствует нашим нравам.

Ни одна книга не производила на меня в юности такого впечатления и влияния как «Последний день осужденного». В первый раз я ее прочел еще задолго до того времени, как мой отец потребовал, чтобы я впервые присутствовал при экзекуции, потому что если бы это требование было сделано в то время, когда я уже находился под влиянием прочитанной книги, то я бы изменил обязанностям детского послушания.

И в настоящую минуту я ощущаю какое-то странное удовлетворение, что мне приходится обнародовать эту книгу в одно время с новым сочинением автора «Последний день осужденного». Не хочу оспаривать, что нас разделяет огромная бездна и что яркие лучи его громкой славы затемняют мою жалкую личность, но я, тем не менее, счастлив, что могу подать и свой голос за дело, лучшим защитником которого он всегда был и будет.

Если мне зададут вопрос: каким образом я при подобных правилах и чувствах столь долгое время мог выполнять работу, выпавшую на мою долю, то я могу только ответить одно: примите во внимание условия, в которых я родился. Говорят, что сыновья Жака д'Арманьяка ощущали на себе кровь отца, выступившую сквозь худо сколоченные доски эшафота. Так и я облачился в одеяние мужчины на алтаре правосудия людей в тот самый день, когда впервые присутствовал при своем отце во время выпол-

нения казни, которую де Местр называет ключом общественного подземелья. Меч правосудия передавался в моем семействе, как шпага у дворян, как скипетр в фамилиях королей; мог ли я избрать иное будущее, отказавшись от памяти своих предков и не огорчая старости отца, спокойно доживающего свой век в моем доме? Тесно связанный священными узами с топором и палкой, я должен был принять на себя темное пятно, перешедшее ко мне по наследству. Но среди своей печальной карьеры — последний потомок династии палачей — я, наконец, избавлен от красной обивки эшафота и скипетра смерти. Мог ли я спокойно лечь подле презренных могил моих предков и наблюдать исчезновение наказания, выполнение которого, вследствие смягчения нравов, делается день ото дня все реже, злодейство, бесчеловечность, как будто составляет последний остаток человеческих жертвоприношений времён варварства и невежества! Да скажут со временем прочитавшие эту книгу, закрывая ее: это духовная исповедь последнего из палачей!

Сансон.

Часть II. ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РАЗЛИЧНЫЕ РОДЫ КАЗНЕЙ

Предисловие

Прежде чем приступить к повествованию и коснуться тех из моих предков, которые предшествовали мне в выполнении ужасной должности исполнителя уголовных законов человеческого правосудия, я посчитал себя обязанным окинуть быстрым взглядом отвратительную цепь наказаний, с давних времен действовавших во Франции. Итак, я попытаюсь показать, до чего может дойти воображение человека в деле невежества и жестокости. Я приведу различные виды осуждения, различные роды наказаний, снаряды и машины казней и пыток, не стараясь, во всяком случае, описать все это в методическом целом, что могло бы походять на наши древние уголовные зако-

нодательства. Мне кажется, что холодные и глубокомысленные замечания законоведа показались бы скучными и даже излишними в этом сочинении, которое уже по внушаемому страху выполняет свое назначение. Если бы кто-либо из толпы, окружающей эшафот, поднялся и стал протестовать против силы и всемогущества закона, то его бы не услышали, на него не обратили бы внимания, его голос, заглушённый стуком и звоном топора, не получил бы отклика. Страдания приговоренного к казни, приготовление к ожидающей его смерти, окровавленный эшафот скорее пробудят в самых жестоких сердцах чувство жалости, а в умах самых помраченных — понятие о правосудии.

Поэтому весьма трудно, если не невозможно, заключить в одну рамку «Историю о Казнях». Прочитав наши уголовные постановления и почти все законодательства Новейшей Европы, нетрудно отгадать философскую мысль, руководившую законодателем при издании их и теперь дышащую из каждого слова. Изложить в их настоящем смысле все примерные нравоучительные наказания, проследить цель, столь удивительно выраженную следующими словами Сенеки: *In vindicandis Inyuriis hael tria lex secuta est: ut eum guem punit emendet, aut poena ejus caeteros reddat meliores, aut ut sublatis malis securiores caeteri vivant.* (При исполнении наказаний необходимо руководствоваться тремя правилами: чтобы через него виновный исправился, или чтоб оно послужило для исправления очевидцев, или же доставило бы спокойствие и оградило на время от подобных злоупотреблений прочих граждан). Таковы основания, которые при самом поверхностном взгляде на законоположения представляются нам, если законодатель отказался бы от своих слов. Отсюда возникает возможность, даже необходимость соединять с этими постановлениями частные условия законодательства каждый раз, когда хотят предпринять общее и стройное изучение новейших законоположений.

Но такой поиск далеко не находится в подобных условиях, когда оно касается уголовных постановлений сред-

них веков. Там, по выражению Монтескье, все — бездонное море и нигде не видишь берега, везде — вода и небо.

К сбивчивости текста, неверности чисел, невозможности составить хронологическую таблицу, присоединяется отсутствие всякого принципа и порядка. Уголовное законодательство, предоставленное на произвол капризам влиятельного принца, видоизменяется, смотря по состоянию его настроения, и даже, если случается, что оно составлено в виде народного благополучия, то все-таки мы в нем не находим того человеколюбия, той умеренности, которые составляют главную принадлежность, главную опору, силу и вечную славу XIX столетия.

Чувство человеколюбия, уважение границ, начертанных самим Господом даже по праву наказания, — вот чего не доставало прежним обществам; и этот недостаток составляет главную причину того характера законоположений древних и средних веков, характера, разбор которого я намерен заняться.

До 1791 года уголовные законы составляли Кодекс жестокости, облеченной в законную форму. Я разберу его главу за главою, то есть казнь за казнью, и читатели убедятся, что от преступника требовали не слезу раскаяния, а крика ужаса и боли. В этом мы виним скорее палача, чем законодателя! «Если окинуть взором наши войны, наши законы, все, наконец, бесчеловечные и варварские наши заблуждения, — восклицает Сервет, — то можно подумать, что нам суждено провести на себе подобных все истязания, которые мы не перестаем производить на животных!»

Подразделение наказаний на телесные, лишаящие прав, звания и достоинств, и на моральные не будут описаны в данном сочинении, так как мало относятся к казням, которые весьма часто были лишь необходимым следствием совершенного преступления. Я предпочел идти по кровавому следу, оставленному людьми в области совершен-

ных ими жестокости и бесчеловечности, и описать казни, распределив их, насколько это возможно, по степени их жестокости. Поэтому я опишу сначала те из них, которые наносили преступнику бесчестье, лишали его прав и достоинств, но оставляли ему жизнь, затем те, которые кончались лишь с прекращением его существования. В первой категории я дойду до увечий; во второй — я помещу все казни, имевшие один исход — смерть.

Одна глава будет посвящена пытке, судебному испытанию или допросу, и наконец, я закончу историческим очерком исполнителя всех этих жестокостей человека, которого во все века раздраженные народы клеймили постыдным именем Палача.

Глава I. Деградация или лишение прав и достоинств

В первой категории наказаний будут помещены: деградация или лишение прав и достоинств; пилори или позорный столб; каркан или ошейник; публичное признание в преступлении, бичевание и длительный список различных увечий. Первые три из этих видов казни более моральные, нежели телесные, может быть, и не заслуживают название казни; но они так несовместимы с современными нравами, имеют до такой степени характер жестокости и насилия. Исторические же документы, которые представляют изучение их имеют столько интереса, что я ни минуты не колебался включить их в состав этого Сочинения.

Деградация постыдным образом лишает человека, признанного виновным, его прав, должностей, привилегий, почетных титулов, принадлежащих ему.

Это наказание в высшей степени справедливое, преимущественно встречается у всех народов, достигших известной степени цивилизации. Моисей прибегает к нему, когда он, по велению Господа, срывает облачение верховного пастыря с Аарона за неверие приговоренного к смерти. В Риме оно существовало под различными названиями: лишение воинского права, разжалование,

бесчестье, а в средние века, мы видим, что оно поражает как лиц духовных, так и лиц военного и гражданского звания.

В подобных случаях люди, принадлежащие к различным кругам, всегда были судимы лицами своего же круга. Священник являлся перед епископом, и приговор его приводился в исполнение обычно в церкви, дворянство назначало наказание дворянину, а Парламент произносил приговор над чиновником в зале своих совещаний. Ювенал Дезюрзен повествует, что два августинских монаха, обманувших Карла VI под предлогом исцелить его, были приговорены к смерти. Так как их священное звание служителей церкви не позволяло, чтобы над ними было исполнено светское правосудие, то казни должна была предшествовать деградация на Гревской площади. Эшафот, выстроенный перед ратушью и церковью Святого Духа, был соединен деревянным мостом с залой этой церкви. Через одно окно, служившее дверью, выходили два августинца, одетые так, как будто они идут к алтарю. Они приближались к эшафоту. Парижский епископ в папском облачении принимал их и давал им наставление, Потом, сняв с них рясы, патрахин, манипул и ризу, он велел в своем присутствии обрить им головы. Лишь тогда палач овладевал их особами, снимал с них одежду, за исключением рубашек, и в этом виде вел их на восьмиугольную башню, называвшуюся *des Halles*, чтобы отрубить им головы.

Даже смерть не всегда избавляла от деградаций. Известно жестокое мщение Этьенна VI. Едва избранный в 896 году в Папы, он велел принести в Полное собрание синода труп Формоза в полном первосвященническом облачении; он вопрошает эту бессловесную жертву, обвиняет его в том, что он противозаконно овладел Римским престолом, произносит над ним анафему и передает в руки палача. Голова мертвеца была отрублена, пальцы, служившие для благословения, отрезаны, и все эти ужасные останки брошены в Тибр.